Людмила
Улицкая
Бедные родственники

Людмила Улицкая

Бедные родственники (сборник)

«Издательство АСТ»

Улицкая Л. Е.

Бедные родственники (сборник) / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ»,

ISBN 978-5-271-38699-2

«Бедные родственники» – первая книга Людмилы Улицкой. Вышла в свет в 1993 году сначала во Франции, а уже потом в России. Именно в этом цикле рассказов проявилось качество, которое потом стало опознавательным знаком автора «Медеи…» и «Казуса Кукоцкого»: грань между бытом и метафизическими безднами не так глубока, как кажется. Ее герои (чаще – героини) – живут так, как будто знают некую «тайну жизни» от рождения, интуитивно, и близкие чаще всего не понимают странной логики их повседневных поступков. Бедные, злые, любимые…

ISBN 978-5-271-38699-2

© Улицкая Л. Е.
© Издательство АСТ

Содержание

Счастливые 5
Бедные родственники 8
Бронька 12
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Людмила Улицкая
Бедные родственники (сборник)

Счастливые

Каждое воскресенье Берта и Матиас отправлялись к сыну. Берта делала бутерброды, наливала в термос чай и аккуратно обвязывала бумажной веревкой веник. Брала, на всякий случай, банку и все это упаковывала в чиненную Матиасом сумку. Матиас подавал ей пальто, или плащ, или жакетку, и они шли на рынок покупать цветы. Потом у трамвайной остановки они долго ждали редкого трамвая. С годами Матиас делался все приземистей и все более походил на шкаф красного дерева; его рыжая масть угадывалась по темно-розовому лицу и бурым веснушкам на руках. Берта, кажется, была когда-то одного с ним роста, но теперь она возвышалась над ним на полголовы. В отличие от мужа с годами она становилась как-то менее некрасивой. Большие рыхлые усы, которые в молодости ее портили, хотя и сильно разрослись, стали менее заметны на старом лице.

Они долго тряслись в трамвае, где было жарко или холодно в зависимости от времени года, но всегда душно. Они окаменело сидели – им всегда уступали места. Впрочем, когда они поженились, им тоже уже уступали места.

Дорога, не оставляя места для сомнений, приводила их к кирпичной ограде, проводила под аркой и оставляла на опрятной грустной тропинке, по обе стороны которой, среди зелени, или снега, или сырого нежного тумана, их встречали старые знакомые: Исаак Бенционович Гальперин с ярко-синими глазками, закатно-малиновыми щеками и голубой лысиной; его жена Фаина Львовна, расчетливая женщина с крепко захлопнутым ртом и трясущимися руками; полковник инженерных войск Иван Митрофанович Семерко, широкоплечий, как Илья Муромец, прекрасно играет на гитаре и поет и такой молодой, бедняга; потом со стершимися бабушкой и дедушкой Боренька Медников, два года два месяца; малосимпатичная семья Крафт, рослые, неповоротливые, белотелые, объявившие о себе вычурно стройными готическими буквами; необыкновенно приветливые старики Рабиновичи с рифмующимися именами – Хая Рафаиловна и Хаим Габриилович, всегда в обнимку, со светло-серыми волосами, одинаково поредевшими к старости, сухие, легкие, почти праздничные, взлетевшие отсюда в один день, оставив всех свидетелей этого чуда в недоумении…

За поворотом тропинка сужалась и приводила их прямо к сыну. Вовочка Леви, семь лет четыре месяца, встречал их много лет тому назад выбранной для этого случая улыбкой, отодвинувшей губу и обнажившей полоску квадратных, не доросших до взрослого размера зубов, среди которых темнело место только что выпавшего.

Все остальные выражения его широкого милого лица, мстя за то, что не они были выбраны для представительства, незаметно ускользнули и улетучились, оставив эту раз и навсегда единственную улыбку из всего неисчислимого множества движений лица.

Берта доставала сверток с веником, развязывала узелок, складывала вчетверо газету, в которую он был завернут, а Матиас смахивал веником пыль или снег с незамысловато зеленой скамеечки. Берта стелила сложенную газету и садилась. Они немного отдыхали, а потом прибирали этот дом – ловко, не торопясь, но быстро, как хорошие хозяева.

На маленьком прямоугольном столике Берта стелила бумажную салфетку, наливала в скользкие пластмассовые крышки чай, ставила стопочку сделанных один в один новеньких бутербродов. Это была их семейная еженедельная трапеза, которая за долгие годы превратилась в сердцевину всего этого обряда, начинающегося с заворачивания веника и оканчивающегося завинчиванием крышки пустого термоса.

Глубокое молчание, наполненное общими воспоминаниями, не нарушалось никаким случайным словом – для слов были отведены другие часы и другие годы. Отслужив свою мессу, они уходили, оставляя после себя запах свежевымытых полов и проветренных комнат.

Дома, за обедом, Матиас выпивал воскресные полбутылки водки.

Трижды налил он в большую серебряную рюмку с грубым рисунком, пасхальную рюмку Бертиного отца, трижды по-коровьи глубоко вздохнула Берта, не умеющая ответить ему иначе. Потом она отнесла посуду на кухню, особенным способом – с мылом и нашатырным спиртом – вымыла ее, вытерла старым чистым полотенцем, и они возлегли на высокую супружескую кровать.

– Ох ты, старый, – сказала шепотом Берта, закрывая маленькие глаза большими веками.

– Ничего, ничего, – пробормотал он, сильно и тяжело поворачивая к себе левой рукой отвернувшуюся жену.

Им снились обычные воскресные сны, послеобеденные сны, счастливейшие восемь лет, которые они прожили втроем, начиная с того нестершегося, всю жизнь переломившего дня, когда она, измученная дурными мыслями, пошла со своей разбухшей грудью и прочими неполадками к онкологу, не сказав об этом мужу. Старая врачиха, сестра ее подруги, долго ее теребила, жала на соски и, задав несколько бесстыдных медицинских вопросов, сказала ей:

– Берта, ты беременна, и срок большой.

Берта села на стул, не надев лифчика, и заплакала, сморщив старое лицо. Большие слезы быстро текли по морщинам вдоль щек, замедляясь на усах, и холодно капали на большую белую грудь с черными курносыми сосками.

Матиас посмотрел на нее с удивлением, когда она сказала ему об этом, – он знал давно, потому что первая его жена четырежды рожала ему девочек, но дым их тел давно уже рассеялся над бледными полями Польши. Ее молчание он понимал по-своему и – что тут говорить – никак не думал, что она сама об этом не знает.

– Мне сорок семь, а тебе скоро шестьдесят.

Он пожал плечами и ласково сказал:

– Значит, мы, старые дураки, на старости лет будем родителями.

Они долго не могли выбрать имя своему мальчику и звали его до двух месяцев «ингеле», по-еврейски «мальчик».

– Правильно было бы назвать его Исаак, – говорил Матиас.

– Нет, так теперь детей не называют. Пусть будет лучше Яков, в честь моего покойного отца.

– Его можно было бы назвать Иегуда, он рыжий.

– Глупости не говори. Ребенок и вправду очень красив, но не называть же его Соломоном.

Назвали его Владимиром. Он был Вовочкой – молчаливым, как Матиас, и кротким, как Берта.

Когда ему исполнилось пять лет, отец начал учить его тому, чему его самого обучали в этом возрасте. В три дня мальчик выучил корявые, похожие друг на друга, как муравьи, буквы, а еще через неделю начал читать книгу, которую всю жизнь справа налево читал его отец. Через месяц он легко читал и русские книги. Берта уходила на кухню и сокрушенно мыла посуду.

– О, какой мальчик! Какой мальчик!

Она восхищалась им, но порой холодная струйка, подобная той, что отрывается зимой от заклеенной рамы и как иголкой касается голой разгоряченной руки, касалась сердца.

Она мыла свою посуду, взбивала сливки, которые никогда не взбивались у соседок, пекла пирожные и делала паштеты. Она слегка помешалась на кулинарных рецептах и совсем забыла о бедной пшеничной каше, расплывающейся по дну алюминиевых мисок, о жидких зеленых щах, которые варила из молодой жгучей крапивы, сорванной на задах разваливающегося двухэтажного дома, в котором жило сначала сорок восемь, а в конце войны восемьдесят вечно

голодных, больных и грязных детей. Она забыла про голубые нежно-шершавые головы мальчиков, их голо торчащие беззащитные уши, тонкие ключицы и синие вены на шеях девочек. Ее острая любовь ко всем этим детям вообще острым лучом сошлась теперь на Вовочке.

Каждый день своей жизни она наслаждалась близостью рыженького пухлого мальчика, часто трогала его руками, чтобы убедиться в том, что он у нее есть. Она купала его, он кричал, а она восхищенно смотрела на непропорционально большие ступни и сокровенный маленький конус.

Когда он подрос, она с таким же восхищением наблюдала за его детскими играми, похожими на настоящую и скучную работу, – он часами плел из разноцветных полосок коврики, хитро соединял их между собой. Матиас, варшавский портной парижской выучки, работал в закрытом ателье и приносил сыну лоскутки. Сам же и помогал ему резать их на ленточки…

Берта в глубине души стеснялась своей непомерно разросшейся любви, считала ее даже несколько греховной. Не склонная к самоанализу, она не приводила свои ощущения к тому порогу, когда надо их словесно определить, жила, внутренне этого избегая.

Матиас приходил с работы, обедал и садился на диван. Вовочка пристраивался рядом, как пирожок, испеченный из остатков теста, рядом с большим рыжим пирогом. Они читали, разговаривали, а Берта суеверно уходила мыть свою сверкающую посуду…

Во сне она легко, как в соседнюю комнату, входила в прошлое и легко двигалась в нем, счастливо дыша одним воздухом со своим сыном. Муж ее, Матиас, с усами сталинского покроя, молчаливо присутствовал как главная деталь декорации. Сны эти походили на много раз виденный спектакль с наркотическим обаянием, который шел долго-долго и всегда кончался за четверть часа до того, как Берта на вытянутых руках внесла со двора Вовочку – бледного, со свежей царапиной на щеке, следом его утренних трудов над моделью самолета, пришедшей на смену хитроумно сплетенным коврикам. Ворот полосатой рубашки был расстегнут, и на шее, целиком открытой и удлинившейся из-за запрокинутой головы, не билась ни одна жилка.

Все произошло мгновенно и напоминало плохой плакат – большой красно-синий мяч резко выкатило на середину дороги, за ним вылетел, как пущенный из рогатки, мальчик, раздался скрежет тормозов чуть ли не единственной проехавшей за все воскресное утро машины. Мяч еще продолжал свое ленивое движение, успев пересечь дорогу грузовика и утратить к движению всякий интерес, а мальчик, раскинув руки, лежал на спине в последней неподвижности, еще совершенно здоровый, со свежей, не выплеснувшейся ни на каплю кровью, не остановившей еще своего тока в кончиках пальцев, но уже необратимо мертвой.

Матиас стоял возле маленького настенного зеркала с намыленными щеками и задранным подбородком и, отведя правую руку с тяжелым лезвием, примеривался к трудному месту на шее.

…В седьмом часу старики проснулись. Берта сунула худые серые ноги в меховые тапочки и пошла ставить чайник Они сидели за круглым столом, покрытым жесткой, как фанера, скатертью. Посреди стола торжествовала вынутая из буфета вазочка с самодельными медовыми пряниками. За спиной Матиаса в углу стоял детский стульчик, на котором пятнадцатый год висела маленькая коричневая курточка, собственноручно перешитая им из собственного пиджака. Левое плечо, то, что к окну, сильно выгорело, но сейчас, при электрическом освещении, это было незаметно.

– Ну что же, сдавай, – сказала Берта и потянулась за очками. Матиас тасовал.

Бедные родственники

Двадцать первого числа, если оно не приходилось на воскресенье, в пустоватом проеме между обедом и чаем, к Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран. Если двадцать первое приходилось на воскресенье, когда вся семья была в сборе, то Ася приходила двадцать второго, в понедельник, потому что она стеснялась своей бедности и слабоумия.

Часа в четыре она звонила в дверь и через некоторое время слышала из глубины квартиры тяжелые шаги и бессмысленное: «Кто там?», потому что по дурацкому хихиканью за дверью, да и по календарю, Анна Марковна должна была знать, что пришла Ася.

«Это я пришла, Анечка, я мимо проходила, думаю, загляну, может, ты дома…» – целуя Анечкину полную щеку и не переставая хихикать, избыточно и фальшиво говорила Ася… потому что не было ничего очевиднее того, что это пришла она, Ася, бедная родственница, за своим ежемесячным пособием.

Когда-то они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки «КЖГС», на много лет предвосхитившие собой время повальных аббревиатур. Однако эти ажурные буквы означали не «государственный совет» по «К» и «Ж», который мог быть кожевенным или железнодорожным, по моде грядущих лет, но всего лишь калужскую женскую гимназию Саловой, которая, будучи частным заведением, позволяла себе обучать богатых еврейских девочек в той пропорции, которую могло обеспечить реденькое еврейское население насквозь русской полудеревенской Калуги с наглыми козами, блуждающими по улицам будущей столицы космонавтики.

Анечка была отличницей с толстой косой, перекинутой через плечо; в ее тетрадках последняя страница не отличалась от первой, особенно красивой и старательной. У Аси не было такого рвения к учению, что у Ани: французские глаголы, нескончаемые частоколы дат и красивые безделушки теорем влетали в одно ее ухо, полуприкрытое пружинистыми беспорядочно-курчавыми белесыми волосами, и, покуда она рисовала тонко очиненным карандашом карикатуру на подлого преподавателя истории Семена Афанасьевича, вылетали из другого. Ася была живая, веселая и славная барышня, но никто, кроме Анны Марковны, не помнил ее такой…

Глупо накрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны Марковны, которая всю жизнь отдавала ей свои старые вещи и давно уже смирилась с тем, как ловко, иногда одним движением своих прикладистых рук, Ася превращала ее почтенную одежду в лохмотья сумасшедшего. Пришитые Асей черные ленточки в некоторых местах отстали и образовали петли и бантики, и все вместе это напоминало остроумный маскарадный костюм нотной тетради.

Из-под зеленого берета на лоб свисала черная бахрома, гибрид вуали и челки, а на губы была всегда натянута зачаточная улыбка, готовая немедленно исчезнуть – или рассыпаться искательным хихиканьем.

– Проходи, Ася, – приветливо и величественно пропустила ее Анна Марковна в столовую. На ковровой кушетке лежал Григорий Вениаминович, муж Анны Марковны. Он неважно себя чувствовал, пораньше ушел из университета, оставив два лекционных часа своего блестящего курса по гистологии очень толковому, но довольно небрежному ассистенту.

Увидев Асю, он кисло хмыкнул, спросил у нее, как дела, и, не дожидаясь ответа, ушел в смежную со столовой спальню, закрыв за собой двойную стеклянную дверь.

– Гриша себя неважно чувствует, – объяснила Анна Марковна и его дневное присутствие, и исчезновение.

– Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила несколько, – соврала она. – Очень красивые. С птичками. Не купить тебе?

– Нет, спасибо. У меня один есть, и он мне совершенно не нужен, слава богу. – В ее голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными экскурсиями.

– Как Ирочка? – спросила Ася о внучке.

Ей не надо было каждый раз придумывать вопросы, она спрашивала последовательно о всех членах семьи, и обычно Анна Марковна коротко отвечала, иногда увлекаясь и вкладывая в свои ответы подробности, предназначенные для более значительных собеседников. На этот раз первый же вопрос оказался удачным, потому что Ирочка вчера объявила, что выходит замуж, и вся семья, совершенно не подготовленная к этому, была взволнована и несколько огорчена. И поэтому Анна Марковна начала довольно пространно рассказывать об этом событии, располагая четко, в два столбца, его плюсы и минусы.

– Мальчик хороший, они дружат со школы, он тоже на втором курсе, в авиационном, учится хорошо, внешне ничего, но ужасно длинный, худой, в Ирку влюблен без памяти, звонит каждый день по пять раз, музыкальный – никогда не учился, пришел, сел за пианино, прекрасно, по слуху, любую мелодию подбирает. Семья, конечно, ты понимаешь… – Ася понимающе затрясла головой, – очень простая. Отец – домоуправ, инвалид. Говорят, попивает. – При этих словах Ася довольно уместно захихикала, а Анна Марковна продолжала: – Но мать – очень приличная женщина. Очень достойная. Четверо детей, два старших мальчика в институте, младшие, близняшки, мальчик и девочка, прелестные… – У Анны Марковны все дети без исключения были прелестными. – Я их видела: чистенькие, опрятные, воспитанные. Сережкину мать я знаю давно, она работала в Ирочкиной школе секретарем. Ничего плохого, во всяком случае, про нее сказать не могу. Он, конечно, очень молодой, ни кола ни двора, их обоих еще долго тянуть надо, но не в этом дело. Гриша считает, что они должны жить отдельно. Снимать! Ты представляешь? Ирка, ей надо учиться, а она будет бегать за продуктами, стряпать, стирать, а то и родит… институт бросит! Да я себе этого не прощу!

Наконец Анна Марковна спохватилась, что всего этого Асе знать вовсе не надо. Но Ася сидела с наслаждением на черном дубовом стуле, оперши накрашенную щеку на руку, и счастливо улыбалась, и нетерпеливо дергала веками, выбирая зазор между словами Анны Марковны, чтобы сказать:

– Анечка, а пусть у меня они живут!

– Да ты что, Ася?! – всерьез отозвалась она, представив себе длинную Асину комнату на Пятницкой, в конце коленчатого коридора, возле кухни. Какая-то лавка старьевщика, а не жилье. Все стены в беспорядочно вбитых гвоздях всех размеров, на одном мужское пальто, на другом – блузка, на третьем – открыточка или пучок травы. Запах – невозможный, настоящее жилище сумасшедшего; и повсюду еще стопки газет, к которым Ася питала необъяснимое пристрастие…

Анна Марковна засмеялась – как это она в первое мгновение об этом серьезно подумала?

Ася в ответ на смех тоже послушно засмеялась, а потом спросила:

– А почему нет? У меня и ширмочка есть. Я бы завтрак им готовила. Пусть живут.

Анна Марковна отмахнулась:

– Ладно, сами разберутся. У Ирочки, в конце концов, родители есть. Пусть подумают хоть раз в жизни, а то он привык, – родители незаметно ополовинились до одного зятя, которого не очень любили в семье, – всю жизнь на всем готовом… Давай чаю попьем, Ася, – предложила Анна Марковна и крикнула в открытую дверь: – Нина, поставьте, пожалуйста, чайник!.. А какие у тебя новости, Ася? – спросила вежливо и незаинтересованно Анна Марковна.

– Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается. У них Рая из Ленинграда гостит. Фотографии показывала своих внучек.

– Сколько им лет? – заинтересовалась Анна Марковна.

– Одна совсем большая, невеста, а другой лет двенадцать.

– Да что ты! Когда это они успели вырасти?

Они плели этот житейский вздор, Анна Марковна – снисходительно, с ощущением выполняемого родственного долга, Ася – чистосердечно и старательно.

Вошла с чайником и поставила его на подставку домработница Нина, красавица с перманентными волосами веником на плечи, с двумя заколками на висках.

Далее разговор дам шел по-французски, что всегда приводило Нину в тихую ярость. Она была уверена, что хозяйка ругает ее по-еврейски.

– Наша новая домработница. Очень хорошая девочка. Дусина племянница, из ее деревни. Это она нам после замужества выписала в подарок, – засмеялась Анна Марковна.

– Очень красивая, – залюбовалась на Нину Ася.

– Да, – с гордостью отозвалась Анна Марковна, – настоящая русская красавица.

У Анны Марковны была легкая рука – устраивать жизнь деревенских девушек, своих домработниц. Они учились в вечерней школе, куда их непременно устраивала Анна Марковна, ходили на какие-то курсы, потом выходили замуж и приходили в гости по праздникам с детьми и мужьями.

Чай пили из богатых синих чашек. В розовые розетки из такого странного стекла, что они казались оббитыми, Анна Марковна положила зеленое варенье из крыжовника, сваренное по редкому рецепту, который она считала своим достоянием.

– Какое варенье у тебя красивое! – восхитилась Ася.

– А помнишь наши уроки домоводства?

– Конечно, сама Лидия Григорьевна Салова вела. У меня всегда хуже всех получалось, – с парадоксальной гордостью поддержала Ася.

– Помнишь, торт именинный всегда пекли ей на день ангела… Да, да, – спохватилась Анна Марковна, что много времени даром потратила, – у меня тут для тебя кое-что приготовлено. Вот, ночная рубашка, зашьешь немного, она крепкая, перчатки верблюжьи Гришины, ну и там по мелочи, – не вдаваясь в унизительные подробности, поскольку на стуле были стопкой сложены заплатанные женские трико…

Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой. Их часовое свидание приближалось к кульминации – и к развязке. Анна Марковна вставала, шла в спальню, звенела там ключами от шкафа и через минуту выносила оттуда заготовленный заранее серый конверт с большой радужной сторублевкой – не по теперешнему, разумеется, счету.

– Это тебе, Асенька, – с оттенком торжественности передавала она конверт. Ася, которая была намного выше Анны Марковны, по-детски краснела и сутулилась, чтобы придать происходящему правильную пропорцию: она, маленькая Асенька, принимает подарок от своей большой и старшей сестры. В обе руки она брала конверт, набитая туго сумка висела на искривленном запястье, и она пыталась одновременно снять ее с руки, расстегнуть и засунуть большой конверт в набитую туго сумочку…

Свидание было окончено. Анна Марковна провожала гостью в прихожую, с колыхнувшейся сердечностью целовала ее в накрашенную щеку, и Ася, испытывая облегчение, слегка унижающее ее искреннюю любовь и безмерное почтение к троюродной сестре, скатывалась чуть ли не вприпрыжку со второго этажа, легкими худыми ногами отмахивала по Долгоруковской до Садового кольца и ровно через сорок минут была в Костянском переулке, у своей подружки Маруськи Фомичевой.

На шаткий стол, припертый к сырой стене, она выгружала богатые подарки. Поколебавшись минуту над верблюжьими перчатками, она выложила их, а под стопку с чиненым бельем засунула большой серый конверт.

– Ишь ты, ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня, – бормотала скомканная полупарализованная старуха.

И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла.

Бронька

Как рассказывала впоследствии Анна Марковна, Симку прибило в московский двор волной какого-то переселения еще до войны. Извозчик выгрузил ее, тощую, длинноносую, в завинченных вокруг худых ног чулках и больших мужских ботинках, и, громко ругаясь, уехал. Симка, удачно отбрехиваясь вслед и крутя руками как ветряная мельница, осталась посреди двора со своим имуществом, состоящим из огромной пятнастой перины, двух подушек и маленькой Броньки, прижимавшей к груди меньшую из двух подушек, ту, что была в розовом наперник и напоминала дохлого поросенка.

Заселив, к неудовольствию прочих жильцов, каморку при кухне и вынудив тем самым разнести по комнатам хранившийся там хлам, главным образом дырявые тазы и корыта, она не вызвала к себе большой любви будущих соседей, обитателей одного из самых ветхих строений сложно разветвленного двора.

Но операцией руководил управляющий домами Кузмичев, однорукий негодяй и доносчик, и все смолчали. Какой прок Кузмичеву было заселять в каморку Симку, так никто и не узнал, но явно не за Симкину красоту. Видимо, она как-то удачно заморочила ему голову, на что, как выяснилось, она была большой мастерицей.

Симка вымыла общественной тряпкой пол в каморке – тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала, – на просохший пол поверх газет положила свою пухлую перину и обратилась к соседке Марии Васильевне с коренным вопросом:

– Послушайте, Мария Васильевна, а вообще где здесь живут интеллигентные люди?

Мария Васильевна, разгадав молниеносно извилистый вопрос, прямым ходом направила Симку к Анне Марковне, и через несколько минут Симка сидела перед белой скатертью, держа в руках синюю кобальтовую чашку с золотым ободком, а бедная Анна Марковна, сочувственно кивая нарядной серебристо-курчавой головой, так что вспыхивал синий огонек то в одной, то в другой длинной мочке, прикидывала, сколько и чего надо дать просительнице и как одновременно оградить себя от ежедневных покушений простодушной нахалки.

Тончайшее взаимопонимание было полным, ибо Симка, рассказывая о своих злоключениях, отчасти вымышленных, виртуозно обходила подлинные события, оставляя то незаполненный пробел, то темную цензорскую вымарку, а Анна Марковна тактично не задавала тех вопросов, которые могли бы расстроить приблизительное правдоподобие повествования. Достоверным было лишь то, что Симка, похоронив мужа, сбежала из доморощенного Сиона, раскинувшегося на берегах Амура, невзирая на все препоны властей, начальств и небесных сил.

Через некоторое время Симка вынесла от Анны Марковны небольшое приданое, в котором было все – от керосинки до мелкой пуговицы. Одновременно с этим Симке было дано понять, что в случае необходимости она может обращаться за помощью, но к чаепитиям ее приглашать не собираются. Симку это вполне устраивало.

Как ни странно, она быстро вписалась в общественную жизнь. Двор принял ее, оценив острый язык и совершенно непривычный вид скандальности – с оттенком добродушия и готовности посреди самого крутого соседского междоусобия заливисто рассмеяться, обхватив руками грудную клетку, в которой самым выдающимся местом был мощный и костистый, как у старой курицы, киль, и тряся рогатым узлом завязанного надо лбом платка.

В карьере ее тоже наблюдался если не взлет, то рост: она по-прежнему была уборщицей, но из конторы управления домами она перешла сначала в заводоуправление, а потом, уже перед самой войной, ее взяли в Наркомздрав.

В работе она была азартна и неутомима, начинала свой рабочий день в шесть утра на казенной службе, потом бежала домой кормить дочку, а потом еще справлять уборку мест

общего пользования чуть ли не в половине квартир соседнего, приличного, постройки начала века и заселенного итээровцами дома. Так вертелась она с пяти утра до поздней ночи и жила не хуже других.

Самой удивительной Симкиной чертой было непомерное тщеславие. Она нахваливала свою половую тряпку, сшитую из мешковины лучшего сорта; развешивая весной для проветривания свою необъятную перину, она раздувалась от гордости так, как будто на веревке перед ней качалась по меньшей мере соболья шуба; она превозносила своего покойного мужа, лучшего из покойников; даже полное отсутствие зубов в собственном рту она рассматривала как интереснейший факт, достойный если не восхищения, то удивления.

Главным пунктом, возносящим ее над всем прочим человечеством, была ее дочь Бронька, которая незаметно росла, лежа животом на подоконнике полуподвального окна и разглядывая круглогодично меняющийся куст сирени и неизменно обтрепанные штаны мальчишек, пробегавших мимо окна в поисках неизвестно куда улетевшего деревянного чижа.

Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним – с какой-то балетной летучей походкой, натянутым, как тетива, позвоночником и запрокинутой головой. Материнского нахальства не было в ней и следа. Взгляд ее был всегда вверх или мимо. Первыми бросались в глаза рыжеватые, растительно-пышные волосы да низкий, изысканной фигурной скобкой очерченный лоб, и лишь потом, при особо внимательном рассмотрении, видна была вся прочая ее красота, собранная из мелких неправильностей: чуть под углом поставленных прозрачно-белых передних зубов, немного приподнятой верхней губы и таких больших светло-желтых глаз, что, казалось, они сдавливали переносицу и простирались до висков. И ко всему этому – обаятельно-сонливое выражение, как будто она только что проснулась и пытается вспомнить ускользнувший сон.

На групповой школьной фотографии сорок седьмого года двенадцатилетняя Бронька не смотрит в объектив. Она отвернулась: видна лишь часть щеки и толстая колбаса косы, скрученной над ухом.

Раздельное обучение уже ввели, но формы еще не узаконили. Одеты разномастно, но опытный взгляд определит одну общую особенность – все в перешитом, в комбинированном, в перелицованном.

Впрочем, две девочки в передничках старорежимного покроя. Это Бронька и внучка Анны Марковны, преданной по гроб жизни гимназическим представлениям о мире, заслуживающим глубокого, но запоздалого уважения. Ирочка, в соответствии с идеалами бабушки, в темном платье с белым воротничком, имитирующем грядущую форму, Бронька – в шерстяной кофточке и сатиновых нарукавниках. Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушения обмена веществ стало известно позже, в более сытые времена. Бронька стоит немного боком, и заметно, что под фартучком ее проросла вполне заметная возвышенность.

Через два года, в седьмом классе, Бронька была с позором изъята из школы чуть ли не на последнем месяце беременности. Как это ни смешно, беременность Броньки классная руководительница Клавдия Дмитриевна, старая дева с черной круглой гребенкой в макушке, заметила раньше, чем дошлая Симка.

Симку вызвали в школу и оповестили.

Симка исследовала и убедилась.

Ее визг и вой оглушил ко всему привычную Котяшкину деревню – так поэтически назывался двор. Звуковая партитура действия, развернувшегося в Симкиной каморке, включала в себя, кроме проклятий на общедоступном русском языке и малопонятном еврейском, все возможные вокализы на «а-а», «о-о» и «у-у», звон стеклянной и грохот металлической посуды, а также треск кое-какой мебели и шлепки оплеух.

Справедливости ради надо сказать, что Бронька звуков никаких не издавала, что в конце концов так обеспокоило соседей, что они вломились всем миром, облили Симку водой, увели

белую и совершенно бесчувственную Броньку, а потом, поочередно и хором, стали внушать Симке, что дело житейское, со всеми случается и не надо так уж убиваться.

Анна Марковна, посетившая знаменитое родительское собрание с бурным обсуждением, самоотверженно заменив свою дочь, женщину слабого здоровья, которую тошнило от одного только приближения к школе, на вопрос внучки Ирочки относительно Броньки сухо ответила, что у Броньки будет ребенок и больше в школе она не появится. При этом Анна Марковна так поджала губы, что стало понятно: никаких увлекательных подробностей Бронькиной биографии сообщено не будет.

Беременность свою Бронька доносила, не выходя из каморки, но, когда родился ребенок, как ни в чем не бывало она вылезла с младенцем на прогулку. Она стояла в палисадничке, чуть левее крыльца, с ребенком в руках, и прогулка ее продолжалась ровно полтора часа.

Первое время дворовые мальчишки пытались высказать ей свое отношение к происшедшему, а также делали разнообразные предложения, связанные с посещением чердака или сараюшки, но Бронька поднимала свои прозрачные глаза, бесстыдно и снисходительно улыбалась и никогда не удостаивала их ответом. Она и прежде была молчалива, малообщительна и по-своему независима, а теперь она и с матерью почти перестала разговаривать.

Для Симки это было дополнительным мучением. Она долго пытала дочь, кто осчастливил ее потомством. В душе она лелеяла облегчительную версию изнасилования. Но Бронька молчала, как скала, не проявляя никакого смущения. Это приводило Симку в полную ярость, но ничто не могло поколебать этого несколько даже слабоумного спокойствия Броньки. Пожалуй, выражение ее лица можно было назвать счастливым.

Рождение ребенка вместе с нераскрытой тайной отцовства отнюдь не разрушило Симкиного тщеславия. Мальчик, которого назвали Юрочкой, вышел в другую породу – темненький, сероглазый, и Симка, восхищаясь его правильной миловидностью, все всматривалась в его черты, надеясь уловить сходство. С кем? Неизвестно…

Поведение Броньки как до рождения ребенка, так и после было безукоризненным. Она и раньше не толклась по подворотням и чердакам, не заглядывала в голубятни к проворным молодцам в повернутых назад козырьками кепках, а теперь, при младенце, она пролетала своей балетной походкой в магазин, когда ее посылала за чем-нибудь мать, и совсем уж бегом неслась обратно, боясь оставить младенца без своего личного присмотра на лишнюю минуту. Вечерами обычно она сидела в своей клетушке на кровати и если не кормила, то просто любовалась спящим сыном.

Симка, проникаясь иногда взбалмошным сочувствием к одиночеству дочери, гнала ее из дому: пошла бы, что ли, в гости, к подружкам! Но Бронька пожимала плечами и отказывалась. Те школьные девочки, с которыми она недавно ходила в седьмой класс, смотрели на нее издали округлившимися от ужаса глазами и вовсе не испытывали желания поддерживать с ней отношения. Только отважная Ира подошла однажды к прогуливающей ребенка Броньке и попросила разрешения на него посмотреть. Бронька отвела от лица сына простынку, и ее бывшая одноклассница восхитилась:

– Вот это да! Хорошенький какой!

И ушла, смутно размышляя о том, что при всем ужасающем стыде такого события ребеночек очень симпатичный, а Бронька принадлежит отныне к миру более серьезному, чем тот, в котором пребывают теорема подобия треугольников, выборы в учком и скакание через кожаного козла. Для своих четырнадцати лет, принимая во внимание общую оголтелость того времени, Ира была девочкой неглупой, хотя дружить ей с Бронькой было совершенно «не о чем».

К тому времени, как мальчик Юрочка пошел и стал лепетать свои «баба» и «мама», обнаружилось, что Бронька опять крепко беременна. Симка на этот раз не устроила скандала, но произвела строгое разыскание. Она унизилась до того, что расспрашивала Марию Васильевну, не ходит ли кто к Броньке, пока она, Симка, на работе. Соседки, обсудив и осудив на кухон-

ном собрании всесторонне Бронькино поведение, все же единодушно признали, что мужиков к себе Бронька не водила. По крайней мере, никто ее на этом не накрыл. Вела она себя при этом так тихо и скромно, так смиренно и безразлично выслушивала полагающиеся ей всякие слова, что общаться с ней соседям было неинтересно. Пожалуй, ее даже жалели.

Так или иначе, родился второй мальчик, в точности похожий на первого, тоже темненький, смугловатый, с серыми круглыми глазами. Бронька – вместо того чтобы рвать на себе волосы – была совершенно счастлива, играла с детьми, как молодая кошка с котятами, кормила младшего грудью, не отказывала иногда и старшему. Он был умненький и, отсосав дочиста после младшего брата остатки молока, говорил «спасибо».

С самого рождения младшего Юрочка воспылал к нему нежным чувством, которое с годами нисколько не умалялось. Дети были улыбчивыми, ласковыми, соседи их любили и баловали чем могли, жалея Симку и дуреху Броньку. Кто совал пирожок, кто печенье.

Виктор Петрович Попов, старый фотограф на пенсии, проживавший одиноко в восемнадцатиметровой, самой большой в квартире комнате, иногда пускал их к себе играть. Они садились на полу, на мелкорисунчатом красном ковре, а он вырезал им из черной бумаги зверей и велосипеды…

А Бронька опять стала беременная. Симкина еврейская душа, закаленная в тысячелетних огнях и водах диаспоры, вкупе с собственным дважды переселенческим опытом, не выдерживала этого наваждения: дочь приносила что ни год по ребенку, ни одного мужика не было и в помине. Симка выбивалась из сил. Стала попивать.

Теснота в каморке была такая, что Симка с двумя детьми спала на своей знаменитой перине, а Бронька ставила себе раскладушку на кухне, возле двери каморки, и спала там, привязанная за ногу веревкой, которую Симка, отроду не читавшая Боккаччо, держала в своей крепкой руке. Третья Бронькина беременность, уже всем заметная, не ослабляла тщетной материнской бдительности.

Новенький Бронькин сын Гришка родился в день ее рождения, когда ей исполнилось семнадцать лет. В отличие от своих старших братьев он был болезненным и крикливым. Бронька до года не спускала его с рук. Он несуразно двигал ручками, кривил обиженно рот, и Симка прикипела к нему душой.

Старшие, Юрка и Мишка, целыми днями вертелись на кухне, пока старуха Кротова не вылила однажды на Мишку кастрюлю горячего супа. С этих пор Бронька перестала выпускать их на кухню, и, если погода была плохая, они сидели в комнате старого Попова, который вырезал им из черной бумаги целый мир, населив его диковинными безымянными зверями, читал сказки Андерсена и никогда не проявлял ни усталости, ни раздражения.

Младшенький постепенно выправлялся, хотя ходить стал поздно, после полутора лет, и задерживался немного в развитии. Бронька возилась с ним больше, чем со старшими, но ее усиленные заботы о детях не помешали ей в положенный срок забрюхатеть. Соседи уж и удивляться перестали такой детородной способности. Симка же к рождению очередного внука стала относиться с той же неизбежностью, как к смене сезонов.

Последний сын Броньки, Сашка, был того же смугло-сероглазого образца, родился он незадолго до смерти старого фотографа, и в самый день похорон Симка, Бронька и четверо детей после небольших поминок и крупного кухонного скандала, разразившегося по поводу самовольного вселения Симкиных потомков в бывшую поповскую комнату, въехали туда и зажили по-царски.

В первый же вечер подвыпившая Симка кричала на кухне Броньке, моющей под краном детские бутылочки – молока у нее на четвертого не пришло:

– Шлюха ты, Бронька, шлюха! Я смолоду одна из-за тебя осталась! Ты думаешь, я замуж выйти не могла? Рожай, рожай, не стесняй себя! На восемнадцать-то метров этого гороха воон сколько уложить можно! – и плакала, стряхивала со щек слезы.

Бронька дернулась, бутылочки звякнули о металлическую раковину. Руки ее пошли вверх, она вся запрокинулась и упала на цементный пол.

А потом Бронька успокоилась. Младшему исполнился и год, и три, и Юрочка уже пошел в школу, в ту самую, из которой его когда-то выгнали вместе с матерью. Школа была уже не раздельнополой, а общей. Девочки ходили в гимназических формах, мальчики были стрижены наголо, и только некоторые, богема и вольнодумцы, от молодых ногтей обрекшие себя на противостояние обществу, носили прозрачные, как рыбий хвост, чубчики. Учился Юрочка у тех самых учителей, которые учили, да ничему хорошему не выучили его непутевую мать.

Бронька пошла работать в булочную уборщицей. При булочной была пекарня, и кроме зарплаты Броньке давали хлеба – сколько съест, и четверо ее ребят на этом припеке росли один в одного, рослые, крепкие. Даже болезненный Гришка выровнялся, и были они ровные, как дети одного отца.

Во дворе, среди сверстников, они верховодили, да и как было противостоять их братскому фаланстеру. Время от времени отворялась форточка, и Симка хрипло кричала:

– Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой! – И была какая-то смешная музыка в этом гортанном выкрике. Теперь Симкино тщеславие кормилось от этих исключительных, таких удачных, таких талантливых – слава Богу! – и таких умных – Боже мой! – и здоровых – тьфу-тьфу не сглазить! – мальчиков.

Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они и начинались. Ходили слухи, что ее снесут. Симка, пронырливая Симка, еще загодя устроилась работать в райисполком уборщицей, какая-то комиссия перемерила ей комнату, и оказалось, что в ней не восемнадцать метров, а семнадцать и восемь десятых, и стало приходиться меньше трех метров на человека, и они получили трехкомнатную квартиру раньше всех, еще до всеобщего выселения.

Никто не верил, пока Симка не повезла соседей на эту самую Вятскую улицу, за Савеловским вокзалом, куда ходил трамвай прямо от Новослободской, и показала эту самую квартиру, даже с ванной.

Первое время Бронькины мальчики часто приезжали в старый двор, а потом привыкли к новому, да и старый стал меняться: ветхие строения, дровяные сараи и голубятни сносили, жильцы разъезжались. Кончились последние остатки провинциальной Москвы с немощеными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с лопухами и золотыми шарами…

Ирина Михайловна, полная и немолодая уже женщина с серебристо-курчавой головой и синими огоньками алмазов в длинных мочках ушей, промахнулась со временем. Она должна была встретиться со своим мужем Сергеем Ивановичем на площади Маяковского в семь часов, но заседание кафедры отменилось, и у нее образовалось окно в два с лишним часа. Ехать домой было не с руки, поскольку они собирались с мужем в гости на другой конец Москвы.

Она приехала на площадь много раньше назначенного времени, намереваясь зайти в магазин «Малыш» и купить что-то внуку, но магазин был на ремонте, и она стояла в растерянности, оказавшись в пустом, незапланированном и не расписанном на минуты заранее времени. Она огляделась по сторонам обновленным и бесцельным взглядом и увидела то, чего лет тридцать не замечала: постепенно, исподволь изменилась площадь, мало осталось домов того раннепослевоенного времени, когда она бегала к памятнику на свидание к Сереже; и какая стоит хорошая дымчатая осень, без сильного света, но и без ранних дождей.

Ирина Михайловна впала в не свойственное ей элегическое настроение. Ей некуда было спешить, было прекрасно.

Она купила зачем-то букет мелких разноцветных астр, улыбнулась его жизнерадостной безвкусице, а потом подошла к филармонической будочке, торгующей билетами, и стала изучать большой лист с перечислением абонементов.

Сидящая в будочке женщина, вытянув шею, с не меньшим интересом изучала самое Ирину Михайловну, а изучив, окликнула:

– Ира! Ирочка!!

Ирина Михайловна посмотрела на женщину, и сердце ее защемило: лицо было таким родным, мучительно знакомым, словно бы выученным когда-то наизусть. Фигурная скобка лба, узкий носик, тонкая переносица и по-египетски, до висков раскинувшиеся глаза, – лицо незабываемое и забытое, как многажды виденный сон… в детстве… в детстве… еще одно усилие памяти, еще один нырок на заповедное дно.

– Не узнаешь? – умоляюще улыбнулась женщина, и продольная вмятинка обозначилась на щеке. – Неужели не узнаешь?

– Господи! Бронька! – изумилась Ирина Михайловна, которая мысленно перебирала самых отдаленных родственников по отцовской линии.

– Я, Ирочка, я! Бронька! – И радость в ней была такая, что Ирина Михайловна даже смутилась. А Бронька моргала ресницами и собиралась плакать. Она закрыла окошечко и выбралась из будки. – Подожди, подожди, ради бога, – зачастила она. – Ты ведь не спешишь? – с надеждой в голосе спросила она. Выйдя из будки, она оказалась такой же маленькой и худенькой, как в детстве.

Она обхватила Ирину и, уткнувшись ей в бок, уже сквозь быстрые легковесные слезы говорила скороговоркой:

– Ирочка! Ой, Ирочка! Да как же я рада, что ты нашлась! Ты ведь у меня одна подруга была, других не было… Если бы ты знала, что ты для меня в детстве значила… Ведь единственная подруга… Я помню, помню, как ты Юрочку просила показать… И бабушка твоя… она нам помогала… Ирочка, вот радость-то… – Бронька смахнула со щеки слезу.

Ирина Михайловна слегка забеспокоилась: неожиданность узнавания, легкое волнение от касания к детству уже прошло, а Бронька, судя по настораживающе-истерической ноте, была немного не в себе – так показалось Ирине, человеку сдержанному и не расположенному к открытым эмоциям.

– Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко, рядом, три минуты, – умоляюще предложила Бронька.

Ирина посмотрела на часы – пустого времени было два часа.

– У меня есть минут сорок, я с мужем договорилась здесь встретиться, – ответила Ирина, а Бронька уже засовывала в большую кожаную сумку кипу билетов и запирала будку.

Тут только заметила Ирина Михайловна, что выглядит Бронька невероятно моложаво и одета в зеленый лайковый костюм, которые отнюдь не на каждом углу продаются.

– Пойдем, пойдем же, – теребила Бронька Ирину и уже волокла куда-то через дорогу. – Я тут рядом. А мама, мама как тебе обрадуется… – И снова Бронька говорила о том, как Ира была ее единственной подругой во все времена ее ужасного, невыносимого детства…

– А мама-то жива, подумать… сколько же ей лет? – удивилась Ирина.

– Восемьдесят четыре. Инсульт у нее был, ходит с палкой, скандалит. С памятью не все, конечно, в порядке, забывает, что близко… А прошлое помнит очень хорошо. Не хуже меня, – с оттенком умной грусти сказала Бронька.

Они вошли в хороший, из тех, что прежде назывались генеральскими, дом, в приличную квартиру. Когда хлопнула дверь, раздалось шарканье и стук палки. В коридор вышла Симка, сморщенная, воспаленно-красного цвета, голова ее была повязана косынкой, все тем же фасоном – козой, с двумя рожками надо лбом. Двумя руками она опиралась о палку, подволакивала левую ногу, сухое личико ее было искривлено съехавшим вниз ртом.

– А, это ты пришла, я думала – Лева, – не совсем внятно произнесла старая Симка.

– Мама, Лева уехал в командировку, в командировке Лева, – крикнула Бронька, а Ирине сказала тихо: – Муж в командировке вторую неделю, а она никак запомнить не может. – И

снова, близко к крику: – Мама, ты посмотри, кто к нам пришел! Это Ирочка, внучка Анны Марковны. Ты помнишь Анну Марковну, в старом дворе?

– А-а, – кивнула Симка. – Конечно, я помню Анну Марковну. Она жива? Нет?

– Давно умерла. Почти двадцать лет, – ответила Ирина, испытывая странное чувство замешательства. – И бабушка, и дедушка, и мамы давно уже нет.

– Анна Марковна была хорошая женщина, – снисходительно, словно от ее мнения зависело нынешнее благосостояние покойной. – Она меня очень уважала, очень уважала, – с гримасой гордого достоинства выговорила с некоторым трудом Симка.

Ирина Михайловна никак не могла вспомнить ее отчества. Не могла – потому что никогда его и не знала. Никто никогда не знал отчества Симки – по крайней мере, в те времена…

Бронька отвела мать в дальнюю комнату. Ирина огляделась: безликое жилье со стандартной, как у самой Ирины, стенкой, множество дорогой музыкальной техники.

– Я чайник поставлю, – сказала Бронька. – У меня конфеты есть «Юбилейные», большая редкость теперь…

Широкие рукава шелковой блузки красиво летали за тонкими Бронькиными руками, когда она доставала конфеты с высокой полки. Она подняла руку, поправила заколку в волосах, в русых, еще сохранивших рыжий отсвет волосах, и все жесты ее казались Ирине необыкновенно женственными, красивыми. А Бронька все бормотала свое:

– Ирочка, сколько лет, Ирочка. Боже мой, сколько же лет…

«А Бронька-то красавица», – вдруг догадалась Ирина. Раньше ей и в голову такое не приходило. Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая.

«В те годы мы такой красоты не понимали, – подумала Ирина. – Она была слишком тонка по тем временам».

Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки. Ирина очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола и как бабушка, склонив набок голову, слушает скороговорную, не совсем понятную речь, пересыпаемую еврейскими словами и резкими жестами, которые все кажутся невпопад, а она, Ирочка, сидит под золоченым круглым столиком в углу комнаты и смотрит на странную гостью через бежевую бахрому скатерти, свисающей до самого пола.

– Как мальчики твои? – спросила Ирина.

– Хорошо, Ирочка. Взрослые. Мало сказать взрослые… Сейчас покажу, – и вынула шкатулку, а из нее пластиковые стопки ярких цветных фотографий. – Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое. Богатый. Не по-нашему, по-настоящему. Это жена его, трое детей. Американцы. Девочки красивые, правда? А это Мишка. Он врач-невропатолог. Он там образование получил. Юрочка ему помог. Это мои американцы. Это Мишина жена, китаянка. Представь, на китаянке женился. У них там, в Америке, все перемешано. Особенно в Калифорнии.

Ирина с интересом смотрела на красивых крепких людей, на неестественно яркую, фальшивую по цвету жизнь, а Бронька взяла скромную стопку черно-белых и продолжала:

– А Гришка и Саша здесь, с нами. То есть не с нами. Гришенька на Вятской живет. Развелся он, как-то неладно у него, а Саша в Ленинграде. Внуков нарожали. Три девочки у нас есть, Джейн и Лиза у Юры и вот эта, Лилечка, Сашина. А это Левы, мужа моего, дочка от первого брака. Сейчас чай принесу. – Бронька улыбнулась и вышла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.